

Жена

Я получил такое письмо:

Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и всё свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, всё теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа: все буквально больны. Фельдшерица говорит: придешь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерица и Соболев (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель.

Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет изо дня в день убеждаются, что они ничего не могут сделать, и всё-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мёрзлым картофелем, и всё-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманен я или нет.

Обеспокоенный анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломав предварительно стену, и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой, обеспокоенный всем этим, я работал вяло и неуспешно. Я писал Историю железных дорог; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щёлкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щёлкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома. Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через пруд и голый молодой березняк, и через большое поле, покрытое недавно выпавшим, тающим снегом, я видел на горизонте на холме

кучу бурых изб, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор. Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, и если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шумят, казался бы похожим на Мертвое озеро так всё здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство; я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование. В самом деле, оставил я службу по Министерству путей сообщения и приехал сюда в деревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя, заветная мечта. А теперь нужно было проститься и с покоем, и с литературой, оставить всё и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что кроме меня, как я был убежден, в этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные, или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя, оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя, значит, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в порядок.

Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих пять тысяч рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было: как распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлеба, пойти по избам и раздавать это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что второпях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. Администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земская управа, волостные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей-помещиков и предложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения; такая организация, допускавшая частные совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядам; но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и

дурной тон, какие неминуемо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли.

Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего. От моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцелела одна только гувернантка m-lle Marie, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лет семидесяти, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила:

Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это так будет. Вы по нашей прислуге можете судить.

Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гавриловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, которые давно уже далеки друг другу, так что даже их жизнь в смежных этажах не походила на близость. Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, как полынь, какую прежде возбуждала во мне Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежних вспышек, громких разговоров, попреков, жалоб и тех взрывов ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поездкой за границу или к родным, а с моей стороны посылкой денег понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбие жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ее родня живут на мой счет, и жена при всем своем желании не может отказаться от моих денег это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе.) Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась; говорили мы о погоде, о том, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотине проехал, и в это время я читал на ее лице: Я верна вам и не порочу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умны и не беспокоите меня мы квиты.

Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы! я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояли, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому, потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то

неладное, и боялся, что выражение моего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, шляпку; мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решился сам собою, естественным порядком, то есть поскорее бы эта красивая 27-летняя женщина состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир Прохорыч доложил мне, что пестровские мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скот, Марья Герасимовна смотрела на меня со страхом и недоумением.

Что же я могу сделать? сказал я ей. Один в поле не воин, а я еще никогда не испытывал такого одиночества, как теперь. Я бы дорого дал, чтобы найти во всем уезде хоть одного человека, на которого я мог бы положиться.

А вы пригласите Ивана Иваныча, сказала Марья Герасимовна.

В самом деле! вспомнил я и обрадовался. Это идея! C'est raison¹, запел я, идя к себе в кабинет, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу. C'est raison, c'est raison...

Это разумно (франц.).

Из всей массы знакомых, которые когда-то, лет 2535 назад, пили в этом доме, ели, приезжали ряжеными, влюблялись, женились, надоедали разговорами о своих великолепных сворах и лошадях, остался в живых один только Иван Иваныч Брагин. Когда-то он был очень деятелен, болтлив, криклив и влюбчив и славился своим крайним направлением и каким-то особенным выражением лица, которое очаровывало не только женщин, но и мужчин; теперь же он совсем постарел, заплыл жиром и доживал свой век без направления и выражения. Приехал он на другой день по получении от меня письма, вечером, когда в столовой только что подали самовар и маленькая Марья Герасимовна резала лимон.

Очень рад вас видеть, мой друг, сказал я весело, встречая его. А вы всё полнеете!

Это я не полнею, а распух, ответил он. Меня пчелы покусали.

С фамильярностью человека, который сам смеется над своею толщиною, он взял меня обеими руками за талию и положил мне на грудь свою мягкую большую голову с волосами, зачесанными на лоб по-хохлацки, и залился тонким, старческим смехом.

А вы всё молодеете! выговорил он сквозь смех. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали. Он, сопя и задыхаясь, обнял меня и

поцеловал в щеку. Мне бы дали... повторил он. Да вам, родной мой, есть сорок?

Ого, уже сорок шесть! засмеялся я.

От Ивана Ивановича пахло свечным салом и кухонным дымом, и это шло к нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тело было стянуто в длинный сюртук, похожий на кучерской кафтан, с крючками и с петлями вместо пуговиц и с высокою талией, и было бы странно, если бы от него пахло, например, одеколоном. В двойном, давно не бритом, сизом, напоминавшем репейник подбородке, в выпученных глазах, в одышке и во всей неуклюжей, неряшливой фигуре, голосе, смехе и в речах трудно было узнать того стройного, интересного краснбая, к которому когда-то уездные мужья ревновали своих жен.

Вы мне очень нужны, мой друг, сказал я, когда мы уже сидели в столовой и пили чай. Хочется мне организовать какую-нибудь помощь для голодающих, и я не знаю, как за это приняться. Так вот, быть может, вы будете любезны, посоветуете что-нибудь.

Да, да, да... сказал Иван Иванович, вздыхая. Так, так, так...

Я бы вас не беспокоил, но, право, кроме вас, милейший, тут положительно не к кому обратиться. Вы знаете, какие тут люди.

Так, так, так... Да...

Я подумал: предстояло совещание серьезное и деловое, в котором мог принимать участие всякий, независимо от места и личных отношений, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

Tres faciunt collegium!¹ сказал я весело. Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Как вы думаете? Феня, обратился я к горничной попросите Наталью Гавриловну пожаловать к нам наверх, если можно, сию минуту. Скажите: очень важное дело.

Немного погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстречу и сказал:

Простите, Natalie, что мы беспокоим вас. Мы толкуем здесь об одном очень важном деле, и нам пришла счастливая мысль воспользоваться вашим добрым советом, в котором вы нам не откажете. Садитесь, прошу вас.

Иван Иванович поцеловал у Натальи Гавриловны руку, а она его в голову, потом, когда все сели за стол, он, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся к ней и опять поцеловал руку. Одета она была в черное и старательно причесана, и пахло от нее свежими духами: очевидно, собралась в гости или ждала к себе кого-нибудь. Входя в столовую, она просто и дружески протянула мне руку и улыбалась мне так же приветливо, как и Ивану Ивановичу, это понравилось мне; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и резко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность в речах и движениях

раздражала меня и напоминала мне ее родину Одессу, где общество мужчин и женщин когда-то утомляло меня своим дурным тоном.

Я хочу сделать что-нибудь для голодающих, начал я и, помолчав немного, продолжал: Деньги, разумеется, великое дело, но ограничиться одним только денежным пожертвованием и на этом успокоиться значило бы откупиться от главнейших забот. Помощь должна заключаться в деньгах, но главным образом в правильной и серьезной организации. Давайте же подумаем, господа, и сделаем что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрела на меня и пожала плечами, как бы желая сказать: Что же я знаю?

Да, да, голод... забормотал Иван Иванович. Действительно... Да...

Положение серьезное, сказал я, и помощь нужна скорейшая. Полагаю, пунктом первым тех правил, которые нам предстоит выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомер, быстрота и натиск.

Да, быстрота... проговорил Иван Иванович сонно и вяло, как будто засыпая. Только ничего не поделаешь. Земля не уродила, так что уж тут... никаким глазомером и натиском ее не проймешь... Стихия.. Против бога и судьбы не пойдешь...

Да, но ведь человеку дана голова, чтобы бороться со стихиями.

А? Да... Это так, так... Да.

Иван Иванович чихнул в платок, ожил и, как будто только что проснулся, оглядел меня и жену.

У меня тоже ничего не уродило, засмеялся он тонким голосом и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно. Денег нет, хлеба нет, а работников полон двор, как у графа Шереметьева. Хочу по шеям разогнать, да жалко как будто.

Наталья Гавриловна засмеялась и стала расспрашивать Ивана Ивановича об его домашних делах. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. Наши отношения были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданным и смешным. Жена говорила с Иваном Ивановичем и смеялась, несколько не смущаясь тем, что она у меня и что я не смеюсь.

Итак, господа, что же мы сделаем? спросил я, выждав паузу. Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорее, объявим подписку. Мы, Natalie, напишем нашим столичным и одесским знакомым и привлечем их к пожертвованиям. Когда же у нас соберется малая толика, мы займемся покупкой хлеба и корма для скота, а вы, Иван Иванович, будете добры, займетесь распределением пособий. Во всем полагаясь на присущие вам такт и распорядительность, мы с своей стороны позволим себе только выразить

желание, чтобы вы, прежде чем выдавать пособие, подробно знакомились на месте со всеми обстоятельствами дела, а также, что очень важно, имели бы наблюдение, чтобы хлеб был выдаваем только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницам, не лентяям и не кулакам.

Да, да, да... забормотал Иван Иванович. Так, так, так...

Ну, с этой слюнявою развалиной каши не сваришь, подумал я и почувствовал раздражение.

Надоели мне эти голодающие, ну их! И всё обижаются и всё обижаются, продолжал Иван Иванович, обсасывая лимонную корку. Голодные обижаются на сытых. И те, у кого есть хлеб, обижаются на голодных. Да... С голоду человек шалее, дуреет, становится дикий. Голод не картошка. Голодный и грубости говорит, и ворует, и, может, еще что похуже... Понимать надо.

Иван Иванович поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего, удушливого смеха.

Было дело под По... Полтавой! выговорил он, отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить. Было дело под Полтавой! Когда года через три после воли был тут в двух уездах голод, приезжает ко мне покойничек Федор Федорыч и зовет к себе. Поедем да поедем, пристал, как с ножом к горлу. Отчего ж? Поедем, говорю. Ну, взяли и поехали. Дело было к вечеру, снежок шел. Подъезжаем уже ночью к его усадьбе и вдруг из лесу бац! и в другой раз: бац! Ах ты, шут тебя... Выскочил я из саней, гляжу в потемках на меня человек бежит и по колена в снегу грузнет; я его обхватил рукой за плечи, вот этак, и выбил из рук ружьишко, потом другой подвернулся, я его по затылку урезал, так что он крякнул и в снег носом чкнулся, здоровый я тогда был, рука тяжелая; я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем верхом сидит. Задержали мы трех молодчиков, ну, скрутили им назад руки, чтоб какого зла нам и себе не сделали, и привели дураков в кухню. И зло на них берет, и глядеть стыдно: мужики-то знакомые и народ хороший, жалко. Совсем одурели с перепугу. Один плачет и прощения просит, другой зверем глядит и ругается, третий стал на коленки и богу молится. Я и говорю Феде: не обижайся, отпусти ты их, подлецов! Он накормил их, дал по пуду муки и отпустил: ступайте к шуту! Так вот как... Царство небесное, вечный покой! Понимал и не обижался, а были которые обижались, и сколько народу перепортили! Да... Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в арестантские роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... В четверг у меня ночевал следователь Анисьин, так вот он рассказывал про какого-то помещика... Да... Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю...

Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскали.

Позвольте, Иван Иванович, сказал я. Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировал губернатору. Я и в Петербург телеграфировал. Но это вовсе не из любви к кляузничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый или голодный для закона безразлично.

Да, да... забормотал Иван Иванович, смутившись. Конечно... Так, да...

Наталья Гавриловна покраснела.

Есть люди... сказала она и остановилась; она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома. Есть люди, сказала она, для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер.

Я смутился и пожал плечами.

Я хочу сказать вообще, продолжала она, есть люди совершенно равнодушные, лишённые всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого.

Есть люди, сказал я мягко, которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особы, торгующей в Одессе на базаре.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместное красноречие по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неуместны; когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

Да... забормотал Иван Иванович некстати. У купца Бурова тысяч четыреста есть, а может, и больше. Я ему и говорю: Отвали-ка, тезка, голодающим тысяч сто или двести. Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь. Обиделся. А помирать-то ведь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчание.

Итак, значит, остается одно: мириться с одиночеством, вздохнул я. Один в поле не воин. Ну, что ж! Попробую и один воевать. Авось война с голодом будет более успешна, чем война с равнодушием.

Меня внизу ждут, сказала Наталья Гавриловна. Она встала из-за стола и обратилась к Ивану Ивановичу: Так вы придете ко мне вниз на минуточку? Я не

прощаюсь с вами.

И ушла.

Иван Иванович пил уже седьмой стакан, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Он сонно и вяло бормотал о чем-то, а я не слушал и ждал, когда он уйдет. Наконец, с таким выражением, как будто он приехал ко мне только затем, чтобы напиться чаю, он поднялся и стал прощаться. Провожая его, я сказал:

Итак, вы не дали мне никакого совета.

А? Я человек сырой, отупел, ответил он. Какие мои советы? И вы напрасно беспокоитесь... Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, голубчик! Ей-богу ничего нет... зашептал он ласково и искренно, успокаивая меня, как ребенка. Ей-богу ничего!..

Как же ничего? Мужики сдирают с изб крыши и уже, говорят, где-то тиф.

Ну, так что же? В будущем году уродит, будут новые крыши, а если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут. И всё равно помирать надо, не теперь, так после. Не беспокойтесь, красавец!

Я не могу не беспокоиться, сказал я раздраженно.

Мы стояли в слабо освещенной передней. Иван Иванович вдруг взял меня за локоть и, собираясь сказать что-то, по-видимому, очень важное, с полминуты молча смотрел на меня.

Павел Андреич! сказал он тихо, и на его жирном застывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательное. Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! Тяжело с вами! Голубчик, тяжело! Он пристально посмотрел мне в лицо; прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел, и он забормотал вяло и сопя:

Да, да... Извините старика... Чепухенция... Да...

Тяжело спускаясь вниз по лестнице, растопырив руки для равновесия и показывая мне свою жирную громадную спину и красный затылок, он давал неприятное впечатление какого-то краба.

Ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство, бормотал он. В Петербург или за границу... Зачем вам тут жить и золотое время терять? Человек вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эх, будь я помоложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело!

Трое составляют совет! (лат.).

Вспышка жены напомнила мне нашу супружескую жизнь. Прежде, обыкновенно, после всякой вспышки нас непреодолимо тянуло друг к другу, мы сходились и пускали в ход весь динамит, какой с течением времени скоплялся в наших душах. И теперь, после ухода Ивана Ивановича, меня сильно

потянуло к жене. Мне хотелось сойти вниз и сказать ей, что ее поведение за чаем оскорбило меня, что она жестока, мелочна и со своим мещанским умом никогда не возвышалась до понимания того, что я говорю и что я делаю. Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мне ответит.

То беспокойство, которое томило меня в последнее время, в этот вечер, когда ушел Иван Иванович, я чувствовал в какой-то особенной раздражающей форме. Я не мог ни сидеть, ни стоять, а ходил и ходил, причем выбирал только освещенные комнаты и держался ближе той, в которой сидела Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывал однажды на Немецком море во время бури, когда все боялись, что пароход, не имевший груза и балласта, опрокинется. И в этот вечер я понял, что мое беспокойство было не разочарование, как я думал раньше, а что-то другое, но что именно, я не понимал, и это меня еще больше раздражало.

Пойду к ней, решил я. А предлог можно выдумать. Скажу, что мне понадобился Иван Иванович, вот и всё.

Я спустился вниз и по коврам, не торопясь, прошел переднюю и залу. Иван Иванович сидел в гостиной на диване, опять пил чай и бормотал. Жена стояла против него, держась за спинку кресла. На лице у нее было то тихое, сладкое и послушное выражение, с каким слушают юродивых и блаженненьких, когда в ничтожных словах и в бормотанье предполагают особое, скрытое значение. В выражении и позе жены, показалось мне, было что-то психопатическое или монашеское, и ее комнаты со старинною мебелью, со спящими птицами в клетках и с запахом герани, невысокие, полутемные, очень теплые, напоминали мне покои игуменьи или какой-нибудь богомольной старухи-генеральши.

Я вошел в гостиную. Жена не выразила ни удивления, ни смущения и посмотрела на меня сурово и спокойно, как будто знала, что я приду. Виноват, сказал я мягко. Очень рад, Иван Иванович, что вы еще не уехали. Забыл я у вас наверху спросить: не знаете ли, как имя и отчество председателя нашей земской управы?

Андрей Станиславович. Да...

Мерси, сказал я, достал из кармана книжку и записал.

Наступило молчание, в продолжение которого жена и Иван Иванович, вероятно, ждали, когда я уйду; жена не верила, что мне нужен председатель земской управы это я видел по ее глазам.

Так я поеду, красавица, забормотал Иван Иванович, когда я прошелся по гостиной раз-другой и потом сел около камина.

Нет, быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки. Еще четверть часа... Прошу вас.

Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз, без свидетелей. Что ж, и я подожду четверть часа, подумал я.

А, идет снег! сказал я, вставая и глядя в окно. Превосходный снег! Иван Иваныч, продолжал я, прохаживаясь по гостиной, я очень жалею, что я не охотник. Воображаю, какое удовольствие по такому снегу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одном месте и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, следила за моими движениями; у нее было такое выражение, как будто я прятал в кармане острый нож или револьвер.

Иван Иваныч, возьмите меня как-нибудь на охоту, продолжал я мягко. Я буду вам очень, очень благодарен.

В это время в гостиную вошел гость. Это был незнакомый мне господин, лет сорока, высокий, плотный, плешивый, с большою русою бородой и с маленькими глазами. По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Сободем.

Очень, очень рад познакомиться! сказал доктор громко, тенором, крепко пожимая мне руку и наивно улыбаясь. Очень рад!

Он сел за стол, взял стакан чаю и сказал громко:

А нет ли у вас случаев рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля, обратился он к горничной, поищите в шкафчике, а то я озяб.

Я опять сел у камина, глядел, слушал и изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь слово. Жена приветливо улыбалась гостям и зорко следила за мною, как за зверем; она тяготилась моим присутствием, а это возбуждало во мне ревность, досаду и упрямое желание причинить ей боль. Жена, думал я, эти уютные комнаты, местечко около камина мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выживший из ума Иван Иваныч или Соболев имеют на них больше прав, чем я. Теперь я вижу жену не в окно, а вблизи себя, в обычной домашней обстановке, в той самой, которой недостает мне теперь в мои пожилые годы, и несмотря на ее ненависть ко мне, я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде, и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться.

Мосье Енот, обратился я к доктору, сколько у нас в уезде больниц?

Соболев... поправила жена.

Две-с, ответил Соболев.

А сколько покойников приходится ежегодно на долю каждой больницы?

Павел Андреич, мне нужно поговорить с вами, сказала мне жена.

Она извинилась пред гостями и вышла в соседнюю комнату. Я встал и пошел за ней.

Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, сказала она.

Вы дурно воспитаны, сказал я.

Вы сию же минуту уйдете к себе наверх, резко повторила она и с ненавистью посмотрела мне в лицо.

Она стояла так близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ее лица.

Но что такое? сказал я. В чем я так вдруг провинился?

Подбородок ее задрожал, она торопясь вытерла глаза, мельком взглянула на себя в зеркало и прошептала:

Начинается опять старая история. Вы, конечно, не уйдете. Ну, как хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она с решительным лицом, а я, пожимая плечами и стараясь насмешливо улыбаться, вернулись в гостиную. Здесь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человек в очках. Не здороваясь с новыми и не прощаясь со старыми, я пошел к себе.

После того, что произошло у меня за чаем и потом внизу, для меня стало ясно, что наше семейное счастье, о котором мы стали уже забывать в эти последние два года, в силу каких-то ничтожных, бессмысленных причин возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли уже остановиться, и что завтра или послезавтра вслед за взрывом ненависти, как я мог судить по опыту прошлых лет, должно будет произойти что-нибудь отвратительное, что перевернет весь порядок нашей жизни. Значит, в эти два года, думал я, начиная ходить по своим комнатам, мы не стали умнее, холоднее и покойнее. Значит, опять пойдут слезы, крики, проклятия, чемоданы, граница, потом постоянный болезненный страх, что она там, за границей, с каким-нибудь франтом, италианцем или русским, надругается надо мной, опять отказ в паспорте, письма, круглое одиночество, скука по ней, а через пять лет старость, седые волосы... Я ходил и воображал то, чего не может быть, как она, красивая, пополневшая, обнимается с мужчиною, которого я не знаю... Уже уверенный, что это непременно произойдет, отчего, спрашивал я себя в отчаянии, отчего в одну из прошлых давнишних ссор я не дал ей развода или отчего она в ту пору не ушла от меня совсем, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживал бы свой век покойно, работая, ни о чем не думая...

Во двор въехала карета с двумя фонарями, потом широкие сани тройкой. У жены, очевидно, был вечер.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышал, но в полночь задвигали

стульями, застучали посудой. Значит, ужин. Потом опять задвигали стульями, и мне из-под пола слышался шум; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всем верхнем этаже был только я один; в гостиной глядели на меня со стен портреты моих предков, людей ничтожных и жестоких, а в кабинете неприятно подмигивало отражение моей лампы в окне. И с завистливым, ревнивым чувством к тому, что происходило внизу, я прислушивался и думал: Хозяин тут я; если захочу, то в одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию. Но я знал, что это вздор, никого разогнать нельзя и слово хозяин ничего не значит. Можно сколько угодно считать себя хозяином, женатым, богатым, камер-юнкером, и в то же время не знать, что это значит.

После ужина кто-то внизу запел тенором.

Ведь ничего же не случилось особенного! убеждал я себя. Что же я так волнуюсь? Завтра не пойду к ней вниз, вот и всё и конец нашей ссоре.

В четверть второго я пошел спать.

Внизу уже разъехались гости? спросил я у Алексея, который раздевал меня.

Точно так, разъехались.

А зачем кричали ура?

Алексей Дмитрич Махонов пожертвовали на голодающих тысячу пудов муки и тысячу рублей денег. И старая барыня, не знаю как их звать, обещали устроить у себя в имении столовую на полтора человека. Слава богу-с... От Натальи Гавриловны вышло такое решение: всем господам собираться каждую пятницу.

Собираться здесь внизу?

Точно так. Перед ужином бумагу читали: с августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысяч восемь деньгами, кроме хлеба. Слава богу-с... Я так понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочет за спасение души, то много соберут. Народ тут есть богатый.

Отпустив Алексея, я потушил огонь и укрылся с головой.

В самом деле, что я так беспокоюсь? думал я. Какая сила тянет меня к голодающим, как бабочку на огонь? Ведь я же их не знаю, не понимаю, никогда не видел и не люблю. Откуда же это беспокойство?

Я вдруг перекрестился под одеялом.

Но какова? говорил я себе, думая о жене. Тайно от меня в этом доме целый комитет. Почему тайно? Почему заговор? Что я им сделал?

Иван Иванович прав: мне нужно уехать!

На другой день проснулся я с твердым решением поскорее уехать.

Подробности вчерашнего дня разговор за чаем, жена, Соболь, ужин, мои страхи томили меня, и я рад был, что скоро избавлюсь от обстановки, которая напоминала мне обо всем этом. Когда я пил кофе, управляющий Владимир

Прохорыч длинно докладывал мне о разных делах. Самое приятное он приберег к концу.

Воры, что рожь у нас украли, нашлись, доложил он, улыбаясь. Вчера следователь арестовал в Пестрове трех мужиков.

Убирайтесь вон! крикнул я ему, страшно рассердившись, и ни с того ни с сего схватил корзину с бисквитами и бросил ее на пол.

После завтрака я потирал руки и думал: надо пойти к жене и объявить ей о своем отъезде. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвечал я себе, но почему же и не объявить, тем более, что это не доставит ей ничего, кроме удовольствия? К тому же уехать после вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсем тактично: она может подумать, что я испугался ее, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня из моего дома, будет тяготить ее. Не мешает также объявить ей, что я жертвую пять тысяч, и дать ей несколько советов насчет организации и предостеречь, что ее неопытность в таком сложном, ответственном деле может повести к самым плачевным результатам. Одним словом, меня тянуло к жене и, когда я придумывал разные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже сидела крепкая уверенность, что я это непременно сделаю.

Когда я пошел к ней, было светло и еще не зажигали ламп. Она сидела в своей рабочей комнате, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись к столу, что-то быстро писала. Увидев меня, она вздрогнула, вышла из-за стола и остановилась в такой позе, как будто загораживала от меня свои бумаги.

Виноват, я на одну минуту, сказал я и, не знаю отчего, смутился. Я узнал случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающим.

Да, организую. Но это мое дело, ответила она.

Да, это ваше дело, сказал я мягко. Я рад ему, потому что оно вполне отвечает моим намерениям. Я прошу позволения участвовать в нем.

Простите, я не могу вам этого позволить, ответила она и посмотрела в сторону.

Почему же, Natalie? спросил я тихо. Почему же? Я тоже сыт и тоже хочу помочь голодающим.

Я не знаю, при чем вы тут? спросила она, презрительно усмехнувшись и пожав одним плечом. Вас никто не просит.

И вас никто не просит, однако же, вы в моем доме устроили целый комитет! сказал я.

Меня просят, а вас, поверьте, никто и никогда не попросит. Идите, помогайте там, где вас не знают.

Бога ради, не говорите со мною таким тоном.

Я старался быть кротким и всеми силами души умолял себя не терять

хладнокровия. Впервые минуты мне было хорошо около жены. На меня веяло чем-то мягким, домовитым, молодым, женственным, в высшей степени изящным, именно тем, чего так не хватало в моем этаже и вообще в моей жизни. На жене был капот из розовой фланели это сильно молодило ее и придавало мягкость ее быстрым, иногда резким движениям. Ее хорошие темные волосы, один вид которых когда-то возбуждал во мне страсть, теперь оттого, что она долго сидела нагнувшись, выбились из прически и имели беспорядочный вид, но от этого казались мне еще пышнее и роскошнее. Впрочем, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть может, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, с которой я когда-то жил и с которой жил бы до сего дня, если бы не ее несчастный характер; это был единственный на всем земном шаре человек, которого я любил. Теперь перед отъездом, когда я знал, что не буду видеть ее даже в окно, она, даже суровая и холодная, отвечающая мне с гордою, презрительною усмешкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себе, что уехать от нее мне страшно и невозможно.

Павел Андреич, сказала она после некоторого молчания, два года мы не мешали друг другу и жили покойно. Зачем это вдруг вам так понадобилось возвращаться к прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унижить, продолжала она, возвышая голос, и лицо ее покраснело, и глаза вспыхнули ненавистью, но воздержитесь, не делайте этого, Павел Андреич! Завтра я подам прошение, мне дадут паспорт, и я уйду, уйду, уйду! Уйду в монастырь, во вдовый дом, в богадельню...

В сумасшедший дом! крикнул я, не выдержав.

Даже в сумасшедший дом! Лучше! лучше! продолжала она кричать, блестя глазами. Сегодня, когда я была в Пестрове, я завидовала голодным и больным бабам, потому что они не живут с таким человеком, как вы. Они честны и свободны, а я, по вашей милости, тунеядица, погибаю в праздности, ем ваш хлеб, трачу ваши деньги и плачу вам своею свободой и какою-то верностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мне паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, которого у вас нет.

Надо было молчать. Стиснув зубы, я быстро вышел в гостиную, но тотчас же вернулся и сказал:

Убедительно прошу, чтобы этих сборищ, заговоров и конспиративных квартир у меня в доме больше не было! В свой дом я пускаю только тех, с кем я знаком, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропией, пусть ищет себе другое место. Я не позволю, чтобы в моем доме по ночам кричали ура от радости, что могут эксплуатировать такую психопатку, как вы!

Жена, ломая руки и с протяжным стоном, как будто у нее болели зубы, бледная, быстро прошла из угла в угол. Я махнул рукой и вышел в гостиную.

Меня душило бешенство, и в то же время я дрожал от страха, что не выдержу и сделаю или скажу что-нибудь такое, в чем буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крепко сжимал себе руки, думая, что этим сдерживаю себя. Выпив воды, немного успокоившись, я вернулся к жене. Она стояла в прежней позе, как бы загораживая от меня стол с бумагами. По ее холодному, бледному лицу медленно текли слезы. Я помолчал и сказал ей с горечью, но уже без гнева:

Как вы меня не понимаете! Как вы ко мне несправедливы! Клянусь честью, я шел к вам с чистыми побуждениями, с единственным желанием сделать добро!

Павел Андреич, сказала она, сложив на груди руки, и ее лицо приняло страдальческое, умоляющее выражение, с каким испуганные, плачущие дети просят, чтобы их не наказывали. Я отлично знаю, вы мне откажете, но я всё-таки прошу. Принудьте себя, сделайте хоть раз в жизни доброе дело. Я прошу вас, уезжайте отсюда! Это единственное, что вы можете сделать для голодающих. Уезжайте, и я прощу вам всё, всё!

Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie, вздохнул я, чувствуя вдруг особенный прилив смирения. Я уже решил уехать, но я не уеду, прежде чем не сделаю чего-нибудь для голодающих. Это мой долг.

Ах! сказала она тихо и нетерпеливо поморщилась. Вы можете сделать отличную железную дорогу или мост, но для голодающих вы ничего не можете сделать. Поймите вы!

Да? Вы вчера попрекнули меня в равнодушии и в том, что я лишен чувства сострадания. Как вы меня хорошо знаете! усмехнулся я. Вы веруете в бога, так вот вам бог свидетель, что я беспокоюсь день и ночь...

Я вижу, что вы беспокоитесь, но голод и сострадание тут ни при чем. Вы беспокоитесь оттого, что голодающие обходятся без вас и что земство и вообще все помогающие не нуждаются в вашем руководительстве.

Я помолчал, чтобы подавить в себе раздражение, и сказал:

Я пришел, чтобы поговорить с вами о деле. Садитесь. Садитесь, прошу вас. Она не садилась.

Садитесь, прошу вас! повторил я и указал ей на стул.

Она села. Я тоже сел, подумал и сказал:

Прошу вас отнестись серьезно к тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью к ближнему, взяли на себя организацию помощи голодающим. Против этого, конечно, я ничего не имею, вполне вам сочувствую и готов оказывать вам всякое содействие, каковы бы отношения наши ни были. Но при всем уважении моем к вашему уму и сердцу... и сердцу, повторил я, я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и ответственное дело, как организация помощи, находилось в одних только

ваших руках. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы с жизнью, слишком доверчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которых совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названных условиях ваша деятельность неминуемо повлечет за собою два печальных последствия. Во-первых, наш уезд останется совершенно без помощи, и во-вторых, за свои ошибки и за ошибки ваших помощников вам придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своею репутацией. Растраты и упущения, допустим, я покрою, но кто вам возвратит ваше честное имя? Когда вследствие плохого контроля и упущений разнесется слух, что вы, а стало быть, и я, нажили на этом деле двести тысяч, то разве ваши помощники придут к вам на помощь?

Она молчала.

Не из самолюбия, как вы говорите, продолжал я, а просто из расчета, чтобы голодающие не остались без помощи, а вы без честного имени, я считаю своим нравственным долгом вмешаться в ваши дела.

Говорите покороче, сказала жена.

Вы будете так добры, продолжал я, укажите мне, сколько у вас поступило до сегодня на приход и сколько вы уже потратили. Затем о каждом новом поступлении деньгами или натурой, о каждом новом расходе вы будете ежедневно извещать меня. Вы, Natalie, дадите мне также список ваших помощников. Быть может, они вполне порядочные люди, я не сомневаюсь в этом, но всё-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я встал и прошелся по комнате.

Давайте же займемся, сказал я и сел за ее стол.

Вы это серьезно? спросила она, глядя на меня с недоумением и испугом.

Natalie, будьте рассудительны! сказал я умоляюще, видя по ее лицу, что она хочет протестовать. Прошу вас, доверьтесь вполне моему опыту и порядочности!

Я всё-таки не понимаю, что вам нужно!

Покажите мне, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

У меня нет тайн. Всякий может видеть. Смотрите.

На столе лежало штук пять ученических тетрадок, несколько листов исписанной почтовой бумаги, карта уезда и множество клочков бумаги всякого формата. Наступали сумерки. Я зажег свечу.

Извините, я пока еще ничего не вижу, сказал я, перелистывая тетради. Где у вас ведомость о поступлении пожертвований деньгами?

Это видно из подписных листов.

Да-с, но ведь и ведомость же нужна! сказал я, улыбаясь ее наивности. Где у вас письма, при которых вы получали пожертвования деньгами и натурой?

Pardon, маленькое практическое указание, Natalie: эти письма необходимо

беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его в особую ведомость. Так же вы поступайте и со своими письмами. Впрочем, все это я буду делать сам.

Делайте, делайте... сказала она.

Я был очень доволен собой. Увлечшись живым, интересным делом, маленьким столом, наивными тетрадками и прелестью, какую обещала мне эта работа в обществе жены, я боялся, что жена вдруг помешает мне и всё расстроит какую-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и делал над собою усилия, чтобы не придавать никакого значения тому, что у нее трясутся губы и что она пугливо и растерянно, как пойманный зверек, смотрит по сторонам.

Вот что, Natalie, сказал я, не глядя на нее. Позвольте мне взять все эти бумаги и тетрадки к себе наверх. Я там посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вам свое мнение. Нет ли у вас еще каких бумаг? спросил я, складывая тетради и листки в пачки.

Берите, всё берите! сказала жена, помогая мне складывать бумаги в пачки, и крупные слезы текли у нее по лицу. Берите всё! Это всё, что оставалось у меня в жизни... Отнимайте последнее.

Ах, Natalie, Natalie! вздохнул я укоризненно.

Она как-то беспорядочно, толкая меня в грудь локтем и касаясь моего лица волосами, выдвинула из стола ящик и стала оттуда выбрасывать мне на стол бумаги; при этом мелкие деньги сыпались мне на колени и на пол.

Всё берите... говорила она осипшим голосом.

Выбросив бумаги, она отошла от меня и, ухватившись обеими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобрал деньги, положил их обратно в ящик и запер, чтобы не вводить в грех прислугу; потом взял в охапку все бумаги и пошел к себе. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ее спину и вздрагивающие плечи, сказал:

Какой вы еще ребенок, Natalie! Аи-аи! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, как серьезно и ответственно это дело, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вам.

Придя к себе, я не спеша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницах номеров нет. Записи сделаны различными почерками, очевидно, в тетрадках хозяйничает всякий, кто хочет. В списках пожертвований натурою не проставлена цена продуктов. Но ведь, позвольте, та рожь, которая теперь стоит 1 р. 15 к., через два месяца может подняться в цене до 2 р. 15 к. Как же можно так? Затем выдано А. М. Соболю 32 р.. Когда выдано? Для чего выдано? Где оправдательный документ? Ничего нет и ничего не поймешь. В случае судебного разбирательства эти бумаги будут только затемнять дело.

Как она наивна! изумлялся я. Какой она еще ребенок!

Мне было и досадно, и смешно.

Жена собрала уже восемь тысяч, прибавить к ним мои пять итого будет тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дело, которое меня так интересовало и беспокоило, находится, наконец, в моих руках; я делаю то, чего не хотели и не могли сделать другие, я исполняю свой долг, организую правильную и серьезную помощь голодающим.

Все, кажется, идет согласно с моими намерениями и желаниями, но почему же меня не оставляет мое беспокойство! Я в продолжение четырех часов рассматривал бумаги жены, уясняя их смысл и исправляя ошибки, но вместо успокоения я испытывал такое чувство, как будто кто-то чужой стоял сзади меня и водил по моей спине шершавую ладонью. Чего мне не доставало? Организация помощи попала в надежные руки, голодающие будут сыты что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, так что я не мог ни сидеть согнувшись, ни писать. Снизу изредка доносились глухие стоны это рыдала жена. Мой всегда смирный, сонный и ханжеватый Алексей то и дело подходил к столу, чтобы поправить свечи, и посматривал на меня как-то странно.

Нет, надо уехать! решил я наконец, выбившись из сил. Подальше от этих великолепных впечатлений. Завтра же уеду.

Я собрал бумаги и тетрадки и пошел к жене. Когда я, чувствуя сильное утомление и разбитость, прижал обеими руками к груди бумаги и тетради и, проходя через спальню, увидел свои чемоданы, то до меня из-под пола донесся плач...

Вы камер-юнкер? спросил меня кто-то на ухо. Очень приятно. Но всё-таки вы гадина.

Всё вздор, вздор, вздор... бормотал я, спускаясь по лестнице. Вздор... И то вздор, будто мною руководит самолюбие или тщеславие... Какие пустяки!

Разве за голодающих дадут мне звезду, что ли, или сделают меня директором департамента? Вздор, вздор! И перед кем тут в деревне тщеславиться?

Я устал, ужасно устал, и что-то шептало мне на ухо: Очень приятно. Но всё же вы гадина. Почему-то я вспомнил строку из одного старинного стихотворения, которое когда-то знал в детстве: Как приятно добрым быть!

Жена лежала на кушетке в прежней позе лицом вниз и обхватив голову обеими руками. Она плакала. Возле нее стояла горничная с испуганным, недоумевающим лицом. Я отослал горничную, сложил бумаги на стол, подумал и сказал:

Вот ваша канцелярия, Natalie. Всё в порядке, всё прекрасно, и я очень доволен. Завтра я уезжаю.

Она продолжала плакать. Я вышел в гостиную и сел там в потемках.

Всхлипывания жены, ее вздохи обвиняли меня в чем-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминал всю нашу ссору, начиная с того, как мне пришла в голову несчастная мысль пригласить жену на совещание, и кончая тетрадками и этим плачем. Это был обычный припадок нашей супружеской ненависти, безобразный и бессмысленный, каких было много после нашей свадьбы, но при чем же тут голодающие? Как это могло случиться, что они попали нам под горячую руку? Похоже на то, как будто мы, гоняясь друг за другом, нечаянно вбежали в алтарь и подняли там драку.

Natalie, говорю я тихо из гостиной, полно, полно!

Чтобы прекратить плач и положить конец этому мучительному состоянию, надо пойти к жене и утешить, приласкать или извиниться; но как это сделать, чтобы она мне поверила? Как я могу убедить дикого утенка, живущего в неволе и ненавидящего меня, что он мне симпатичен и что я сочувствую его страданию? Жены своей я никогда не знал и потому никогда не знал, о чем и как с нею говорить. Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, мирозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которою она иногда поражала меня, или, например, монашеское выражение, как вчера, всё это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек, то моя психология не шла дальше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желание знать больше. Плач прекратился. Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.

Я уезжаю завтра утром, сказал я.

Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:

Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам всё, всё...

Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.

Я утомлена. После как-нибудь... сказала жена.

Какая вина? продолжал я. Что я сделал? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вас и ненавидим вами, но разве это вина? Я женился на вас не насильно. Ну, что ж, если хотите жить на свободе, идите, я дам вам волю. Идите, можете любить, кого вам угодно... Я и развод дам.

Этого мне не надо, сказала она. Вы знаете, я вас любила прежде и всегда

считала себя старше вас. Пустяки все это... Вина ваша не в том, что вы старше, а я моложе, или что на свободе я могла бы полюбить другого, а в том, что вы тяжелый человек, эгоист, ненавистник.

Не знаю, может быть, проговорил я.

Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.

Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неудобных, опостылевших комнат. Бывало в детстве, когда у меня болело что-нибудь, я жался к матери или няне, и, когда я прятал лицо в складках теплого платья, мне казалось, что я прячусь от боли. Так и теперь почему-то мне казалось, что от своего беспокойства я могу спрятаться только в этой маленькой комнате, около жены. Я сел и рукою заслонил глаза от света. Было тихо.

Какая вина? сказала жена после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами. Вы прекрасно образованны и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но всё это выходит у вас так, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унижительное. У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых за вольнодумство. Вам дороги интересы народа и России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. Почва законности! сказала жена и засмеялась. На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семи месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь мне стыдно... Так и пропали лучшие годы. Пока воевала с вами, я испортила себе

характер, стала резкой, грубой, пугливой, недоверчивой... Э, да что говорить! Разве вы захотите понять? Идите себе с богом.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь! тихо сказала она, глядя в раздумье на огонь. Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живал зимою в деревне и знает эти длинные, скучные, тихие вечера, когда даже собаки не лают от скуки и, кажется, часы томятся оттого, что им надоело тикать, и кого в такие вечера тревожила пробудившаяся совесть и кто беспокойно метался с места на место, желая то заглушить, то разгадать свою совесть, тот поймет, какое развлечение и наслаждение доставлял мне женский голос, раздававшийся в маленькой уютной комнате и говоривший мне, что я дурной человек. Я не понимал, чего хочет моя совесть, и жена, как переводчик, по-женски, но ясно истолковывала мне смысл моей тревоги. Как часто раньше, в минуты сильного беспокойства, я догадывался, что весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно.

Жена через силу поднялась и подошла ко мне.

Павел Андреич, сказала она, печально улыбаясь. Простите, я не верю вам: вы не уедете. Но я еще раз прошу. Называйте это, она указала на свои бумаги, самообманом, бабьей логикой, ошибкой, как хотите, но не мешайте мне. Это всё, что осталось у меня в жизни. Она отвернулась и помолчала. Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала с вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мне кажется, в этом я нашла способ, как оправдать свою жизнь.

Natalie, вы хорошая, идейная женщина, сказал я, восторженно глядя на жену, и всё, что вы делаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волнение, я прошелся по комнате.

Natalie, продолжал я через минуту, перед отъездом прошу у вас, как особенной милости, помогите мне сделать что-нибудь для голодающих!

Что же я могу? сказала жена и пожала плечами. Разве вот только подписной лист?

Она порылась в своих бумагах и нашла подписной лист.

Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами, сказала она, и по ее тону заметно было, что своему подписному листу она не придавала серьезного значения. А участвовать в этом деле как-нибудь иначе вы не можете.

Я взял лист и подписал: Известный 5000.

В этом известный было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понял это только, когда заметил, что жена сильно покраснела и торопливо сунула лист в кучу бумаг. Нам обоим стало стыдно. Я почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же нужно загладить эту неловкость, иначе мне будет стыдно потом и в вагоне и в Петербурге. Но как

загладить? Что сказать?

Я благословляю вашу деятельность, Natalie, сказал я искренно, и желаю вам всякого успеха. Но позвольте на прощанье дать вам один совет. Natalie, держите себя поосторожнее с Соболев и вообще с вашими помощниками и не доверяйтесь им. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни зиждется на рубле. Рубль, рубль и рубль! вздохнул я. Они любят легкие и даровые хлеба и в этом отношении, чем они образованнее, тем опаснее для дела.

Жена пошла к кушетке и прилегла.

Идеи, идейно, проговорила она вяло и нехотя, идейность, идеалы, цель жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотели кого-нибудь унижить, обидеть или сказать неприятность. Ведь вот вы какой! Если с вашими взглядами и с таким отношением к людям подпустить вас близко к делу, то это, значит, разрушить дело в первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

Это грубость нравов, Павел Андреич, сказала она. Вы образованны и воспитанны, но в сущности какой вы еще... скиф! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни с кем не видаетесь и не читаете ничего, кроме ваших инженерных книг. А ведь есть хорошие люди, хорошие книги! Да... Но я утомилась и мне тяжело говорить. Спать надо.

Так я еду, Natalie, сказал я.

Да, да... Merci...

Я постоял немного и пошел к себе наверх. Час спустя это было в половине второго я со свечкою в руках опять сошел вниз, чтобы поговорить с женой. Я не знал, что скажу ей, но чувствовал, что мне нужно сказать ей что-то важное и необходимое. В рабочей комнате ее не было. Дверь, которая вела в спальню, была закрыта.

Natalie, вы спите? тихо спросил я.

Ответа не было. Я постоял около двери, вздохнул и пошел в гостиную. Здесь я сел на диван, потушил свечу и просидел в потемках до самого рассвета.

Выехал я на станцию в 10 часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер.

Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погода впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрово.

Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновато будет Пестрово, подумал я. Оно меня преследует.

Въехали на улицу. На избах все крыши целы, нет ни одной содранной, значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком, другой мальчик, лет трех, с окутанной по-бабьи головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нет хлеба, в избах кто хохочет, кто на стену лезет, но всё это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов, вопиющих о помощи, ни плача, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик, но почему же я так беспокоюсь?

Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей; мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними; но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия, меня победили, выбросили, и я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге, в отеле на Большой Морской.

Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор с заткнутой за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал:

Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час.

Кстати: меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник, камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции. Надо было ждать. Я вышел наружу и, с тяжелой от бессонной ночи головой и едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души.

Зачем я еду? спрашивал я себя. Что меня ожидает там? Знакомые, от которых я уже уехал, одиночество, ресторанные обеды, шум, электрическое освещение, от которого у меня глаза болят... Куда и зачем я еду? Зачем я еду? И как-то странно было уезжать, не поговоривши с женой. Мне казалось, что я оставил ее в неизвестности. Уезжая, следовало бы сказать ей, что она права,

что я в самом деле дурной человек.

Когда я повернул от водокачки, в дверях показался начальник станции, на которого я два раза уже жаловался его начальству; приподняв воротник сюртука, пожимаясь от ветра и снега, он подошел ко мне и, приложив два пальца к козырьку, с растерянным, напряженно почтительным и ненавидящим лицом сказал мне, что поезд опоздает на 20 минут и что не желаю ли я пока обождать в теплом помещении.

Благодарю вас, ответил я, но, вероятно, я не поеду. Велите сказать моему кучеру, чтобы он подождал. Я еще подумаю.

Я ходил взад и вперед по платформе и думал: уехать мне или нет? Когда пришел поезд, я решил, что не поеду. Дома меня ожидали недоумение и, пожалуй, насмешки жены, унылый верхний этаж и мое беспокойство, но это в мои годы все-таки легче и как-то роднее, чем ехать двое суток с чужими людьми в Петербург, где я каждую минуту сознавал бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается к концу. Нет, уж лучше домой, что бы там ни было... Я вышел из станции. Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду, при дневном свете было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими незнаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Ивановича.

Поедем к Брагину! сказал я кучеру, садясь в сани.

Далече, вздохнул Никанор. Верст, пожалуй, 28 будет, а то и все 30.

Пожалуйста, голубчик, сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться. Поедем, пожалуйста!

Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не Черкеса, а Мужика или Чижики, и нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж взмахнул кнутом.

Целый ряд непоследовательных поступков... думал я, пряча лицо от снега. Это я сошел с ума. Ну, пускай...

В одном месте на очень высоком и крутом спуске Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, но с половины лошади вдруг сорвались и со страшною быстротой понесли вниз; он вздрогнул, поднял локти и закричал диким, неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал: Эй, прокатим генерала! Запалим, новых купит, голубчики! Ай, берегись, задавим!

Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян; должно быть, на станции выпил. На дне оврага затрещал лед, кусок крепкого унавоженного снега, сбитый с дороги, больно ударил меня по лицу. Разбежавшиеся лошади с разгону

понесли на гору так же быстро, как с горы, и не успел я крикнуть Никанору, как моя тройка уже летела по ровному месту, в старом еловом лесу, и высокие ели со всех сторон протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы.

Я сошел с ума, кучер пьян... думал я. Хорошо!

Ивана Иваныча я застал дома. Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной:

А вы всё молодеете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали.

Я, Иван Иваныч, приехал вам визит отдать, солгал я. Не взыщите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами.

Рад, голубчик! Я из ума выжил, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Иванычем вошли в его маленький кабинет, две босые девочки сидели на полу и рассматривали Иллюстрацию в переплете; увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон, и тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с дивана подушку, а с полу Иллюстрацию, вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шёпот и шлепанье босых ног.

А я к себе доктора жду обедать, сказал Иван Иваныч. Обещал с пункта заехать. Да. Он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья. Он потянулся ко мне и поцеловал в шею. Приехали, голубчик, значит, не сердитесь, зашептал он, сопя. Не сердитесь, матушка. Да. Может, и обидно, но не надо сердиться. Я об одном только прошу бога перед смертью: со всеми жить в мире и согласии, по правде. Да.

Простите, Иван Иваныч, я положу ноги на кресло, сказал я, чувствуя, что от сильного утомления я не могу быть самим собой; я поглубже сел на диван и протянул ноги на кресло. После снега и ветра у меня горело лицо и, казалось, всё тело впитывало в себя теплоту и от этого становилось слабее. У вас тут хорошо, продолжал я, тепло, мягко, уютно... И гусиные перья, засмеялся я, поглядев на письменный стол, песочница...

А? Да, да... Письменный стол и вот этот шкафчик из красного дерева делал моему отцу столяр-самоучка Глеб Бутыга, крепостной генерала Жукова. Да... Большой художник по своей части.

Вяло, тоном засыпающего человека, он стал рассказывать мне про столяра Бутыгу. Я слушал. Потом Иван Иваныч вышел в соседнюю комнату, чтобы показать мне замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева. Он постучал пальцем по комоду, потом обратил мое внимание на изразцовую печь с рисунками, которых теперь нигде не

встретишь. И по печи постучал пальцем. От комода, изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думал: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думал о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность; я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей: Это не долговечно... Это ни к чему. Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкаф Бутыги и мой мост, то он скажет: Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии...

Я только эти комнаты топлю, бормотал Иван Иванович, показывая мне свои комнаты. С тех пор, как умерла жена и сына на войне убили, я запер парадные. Да... вот...

Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старый фортепьяно и кучу гороху на полу; пахло холодом и запахом сырья. А в другой комнате садовые скамейки... бормотал Иван Иванович. Некому уж мазурку танцевать... Запер.

Послышался шум. Это приехал доктор Соболев. Пока он с холоду потирал руки и приводил в порядок свою мокрую бороду, я успел заметить, что, во-первых, ему жилось очень скучно и потому приятно было видеть Ивана Ивановича и меня, и, во-вторых, это был простоватый и наивный человек. Он смотрел на меня так, как будто я был очень рад его видеть и очень интересуюсь им. Две ночи не спал! говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь. Одну ночь с роженицей, а другую, всю напролет, клопы кусали, у мужика ночевал. Спать хочу, понимаете ли, как сатана.

С таким выражением, как будто это не может доставить мне ничего, кроме удовольствия, он взял меня под руку и повел в столовую. Его наивные глаза, помятый сюртук, дешевый галстук и запах йодоформа произвели на меня неприятное впечатление; я почувствовал себя в дурном обществе. Когда сели за стол, он налил мне водки, и я, беспомощно улыбаясь, выпил; он положил

мне в тарелку кусок ветчины и я покорно съел.

Repetitio est mater studiorum¹, сказал Соболев, торопясь выпить другую рюмку. Верите ли, от радости, что хороших людей увидел, даже сон прошел. Я мужик, одичал в глуши, огрубел, но я всё-таки еще, господа, интеллигентный человек и искренно говорю вам: тяжело без людей!

Подали на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной, потом жирные, очень горячие щи со свининой и гречневую кашу, от которой столбом валил пар. Доктор продолжал говорить, и скоро я убедился, что это был слабый, внешне беспорядочный и несчастный человек. От трех рюмок он опьянел, неестественно оживился, ел очень много, покрывая и причмокивая, и меня уже величал по-италиански: экчеленца. Наивно глядя на меня, как будто уверенный, что я очень рад видеть его и слушать, он сообщил мне, что со своею женой он давно уже разошелся и отдает ей три четверти своего жалованья; что живет она в городе с его детьми мальчиком и девочкой, которых он обожает, что любит он другую, вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного времени.

Целый день то в больнице, то в разъездах, рассказывал он, и, клянусь вам, экчеленца, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лет ничего не читал! Десять лет, экчеленца! Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной раз не на что.

Зато у вас нравственное удовлетворение, сказал я.

Чего-с? спросил он и прищурил один глаз. Нет, давайте уж лучше выпьем. Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т.п., но ни одна мерка не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совершенно ясен, но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенности и простоте он становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Может ли этот человек, спрашивал я себя, растратить чужие деньги, злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым хлебам? И теперь этот, когда-то серьезный, значительный вопрос казался мне наивным, мелочным и грубым.

Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжение которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из потрохов, жареного поросенка, утку, куропаток, цветную капусту, вареники, творог с молоком, кисель и, под конец, блинчики с вареньем. Сначала, особенно щи и кашу, я ел с большим аппетитом, но потом жевал и глотал машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. От горячих щей и от

жары, какая была в комнате, у меня сильно горело лицо. Иван Иванович и Соболев тоже были красны.

За здоровье вашей супруги, сказал Соболев. Она меня любит. Скажите ей, что кланялся ей лейб-медик.

Счастливая, ей-богу! вздохнул Иван Иванович. Не хлопотала, не беспокоилась, не суежилась, а вышло так, что она теперь первая персона во всем уезде.

Почти всё дело у нее в руках и около нее все: и доктор, и земские начальники, и барыни. У настоящих людей это как-то само собой выходит. Да... Яблоне не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли сами вырастут.

Не беспокоятся равнодушные, сказал я.

А? Да, да... забормотал Иван Иванович, не расслышав. Это верно... Надо быть равнодушным. Так, так... Именно... Будь только справедлив перед богом и людьми, а там хоть трава не расти.

Экшеленца, сказал торжественно Соболев, посмотрите вы на окружающую природу: высунь из воротника нос или ухо откусит; останься в поле на один час снегом засыплет. А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась, те же печенег и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем. О чем бишь я? Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, взглядеться да разобрать эту, с позволения сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре! Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. Надо стоять прямо и глядеть в оба и ни чичирк! Тут уж некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию, будь тверд и неподатлив как камень. Не так ли, дедушка? повернулся он к Ивану Ивановичу и засмеялся. Я сам баба, тряпка, кисляй кисляич и потому терпеть не могу кислоты. Не люблю мелких чувств! Один хандрит, другой трусит, третий войдет сейчас сюда и скажет: Ишь ты, уперли десять блюд и заговорили о голодающих! Мелко и глупо! Четвертый попрекнет вас, экшеленца, что вы богаты. Извините меня, экшеленца, продолжал он громко, приложив руку к сердцу, но то, что вы задали нашему следователю работу, что он ваших воров день и ночь ищет, извините, это тоже мелко с вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчас, но понимаете ли, мелко!

Кто его просит беспокоиться, не понимаю? сказал я, вставая; мне вдруг стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходил около стола. Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил... Чёрт его подери совсем!

Троих арестовал и выпустил. Оказались не те, и теперь новых ищет, засмеялся Соболев. Грехи!

И я вовсе не просил его беспокоиться, сказал я, готовый заплакать от волнения. К чему, к чему всё это? Ну, да, положим, я был не прав, поступал я

дурно, положим, но зачем они стараются, чтобы я был еще больше не прав? Ну, ну, ну, ну! сказал Соболев, успокаивая меня. Ну! Я выпивши, потому и сказал. Язык мой враг мой. Ну-с, вздохнул он, поели, наливки попили, а теперь на боковую.

Он встал из-за стола, поцеловал Ивана Ивановича в голову и, пошатываясь от сытости, вышел из столовой. Я и Иван Иванович молча покурили.

Я, родной мой, не сплю после обеда, сказал Иван Иванович, а вы пожалуйста в диванную, отдохните.

Я согласился. В полутемной, жарко натопленной комнате, которая называлась диванною, стояли у стен длинные широкие диваны, крепкие и тяжелые, работы столяра Бутыги; на них лежали постели высокие, мягкие, белые, постланные, вероятно, старушкою в очках. На одной постели, лицом к спинке дивана, без куртки и без сапог, спал уже Соболев; другая ожидала меня. Я снял куртку, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который витал в тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболева, покорно лег.

И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, кучи снега, пожар в театре... Приснились мужики, вытащившие у меня из амбара двадцать кулей ржи...

Все-таки это хорошо, что следователь отпустил их, говорю я.

Я просыпаюсь от своего голоса, минуту с недоумением смотрю на широкую спину Соболева, на его жилетную пряжку и толстые пятки, потом опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся в другой раз, было уже темно. Соболев спал. На душе у меня было покойно и хотелось поскорее домой. Я оделся и вышел из диванной.

Иван Иванович сидел у себя в кабинете в большом кресле совершенно неподвижно и глядел в одну точку, и видно было, что в таком состоянии оцепенения он находился все время, пока я спал.

Хорошо! сказал я, зевая. У меня такое чувство, как будто я проснулся после розговенья на Пасху. Я к вам теперь часто буду ездить. Скажите, у вас обедала жена когда-нибудь?

Бы... ба... бы... бывает, забормотал Иван Иванович, делая усилие, чтобы пошевелиться. В прошлую субботу обедала. Да... Она меня любит.

После некоторого молчания я сказал:

Помните, Иван Иванович, вы говорили, что у меня дурной характер и что со мной тяжело? Но что надо сделать, чтобы характер был другой?

Не знаю, голубчик... Я человек сырой, обрюзг, советовать уже не могу... Да...

А сказал я вам тогда потому, что люблю вас, и жену вашу люблю, и отца любил... Да. Я скоро помру и какая мне надобность таиться от вас или врать?

Так и говорю: люблю вас крепко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Он повернулся ко мне и проговорил шепотом, задыхаясь:

Невозможно вас уважать, голубчик. С виду вы как будто и настоящий человек. Наружность у вас и осанка как у французского президента Карно в Иллюстрации намедни видел... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и в чинах, рукой до вас не достанешь, но, голубчик, у вас душа не настоящая... Силы в ней нет... Да.

Скиф, одним словом, засмеялся я. Но что жена? Расскажите мне что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мне хотелось говорить про жену, но вошел Соболь и помешал.

Поспал, умылся, сказал он, наивно глядя на меня, попью чайку с ромом и домой.

Повторение мать учения (лат.).

Был уже восьмой час вечера. Из передней до крыльца, кроме Ивана Иваныча, провожали нас с причитываниями и пожеланиями всяких благ бабы, старуха в очках, девочки и мужик, а около лошадей в потемках стояли и бродили какие-то люди с фонарями, учили наших кучеров, как и где лучше проехать, и желали нам доброго пути. Лошади, сани и люди были белые.

Откуда у него столько народу? спросил я, когда моя тройка и докторская пара шагом выезжали со двора.

Это всё его крепостные, сказал Соболь. До него еще не дошло положение.

Кое-кто из старой прислуги свой век доживает, ну, сиротки разные, которым деваться некуда; есть и такие, что насильно живут, не выгонишь. Чудной старик!

Опять быстрая езда, необыкновенный голос пьяного Никанора, ветер и неотвязчивый снег, лезущий в глаза, в рот, во все складки шубы...

Эка меня носит! думаю я, а мои колокольчики заливаются вместе с докторскими, ветер свистит, кучера гикают, и под этот неистовый шум я вспоминаю все подробности этого странного, дикого, единственного в моей жизни дня, и мне кажется, что я в самом деле с ума сошел или же стал другим человеком. Как будто тот, кем я был до сегодняшнего дня, мне уже чужд.

Доктор ехал позади и всё время громко разговаривал со своим кучером.

Изредка он догонял меня, ехал рядом и всё с тою же наивною уверенностью, что для меня это очень приятно, предлагал папирос, просил спичек. А то, поравнявшись со мной, он вдруг вытянулся в саних во весь рост, замахал рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннее рук, и закричал:

Лупи, Васька! Обгони-ка тысячных! Эй, котята!

И докторские котята при громком злорадном смехе Соболя и его Васьки понеслись вперед. Мой Никанор обиделся и придержал тройку, но когда не

стало уже слышно докторских звонков, поднял локти, гикнул, и моя тройка, как бешеная, понеслась вдогонку. Мы въехали в какую-то деревню. Вот мелькнули огоньки, силуэты изб, кто-то крикнул: Ишь, черти! Проскакали, кажется, версты две, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поравнялись с доктором и поехали тише, он попросил спичек и сказал: Вот прокормите-ка эту улицу! А ведь здесь пять таких улиц, сударь. Стой! Стой! закричал он. К трактиру поворачивай! Надо согреться и лошадям отдохнуть.

Остановились около трактира.

У меня в епархии не одна такая деревенька, говорил доктор, отворяя тяжелую дверь с визжащим блоком и пропуская меня вперед. Среди бела дня взглянешь на такую улицу конца не видать, а тут еще переулки, и только затылок почешешь. Трудно что-нибудь сделать.

Мы вошли в чистую комнату, где сильно пахло скатертями, и при нашем входе вскочил с лавки заспанный мужик в жилетке и рубахе навыпуск. Соболев попросил пива, а я чаю.

Трудно что-нибудь сделать, говорил Соболев. Ваша супруга верит, я преклоняюсь перед ней и уважаю, но сам глубоко не верю. Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. Мой Вася всю свою жизнь был у меня работником; у него не уродило, он голоден и болен. Если я даю ему теперь по 15 коп. в день, то этим я хочу вернуть его в прежнее положение работника, то есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тем эти 15 коп. я почему-то называю помощью, пособием, добрым делом. Теперь будем говорить так. По самому скромному расчету, считая по 7 коп. на душу и по 5 душ в семье, чтобы прокормить 1 000 семейств, нужно 350 руб. в день. Этой цифрой определяются наши деловые обязательные отношения к 1 000 семейств. А между тем мы даем не 350 в день, а только 10 и говорим, что это пособие, помощь, что за это ваша супруга и все мы исключительно прекрасные люди, и да здравствует гуманность. Так-то, душа моя! Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали да совестливо относились к своим обязательствам! Сколько среди нас таких гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами, но не платят своим портным и кухаркам. Логика в нашей жизни нет, вот что! Логика!

Мы помолчали. Я мысленно сделал расчет и сказал:

Я буду кормить тысячу семейств в продолжение двухсот дней. Вы приезжайте завтра поговорить.

Я был доволен, что это вышло у меня просто, и был рад, что Соболев ответил мне еще проще:

Ладно.

Мы заплатили, что нужно, и вышли из трактира.

Люблю так путаться, сказал Соболев, садясь в сани. Экчеленца, одолжите спичку: я свои в трактире забыл.

Через четверть часа его пара отстала, и сквозь шум метели уже не слышно было его звонков. Приехав домой, я прошелся по своим комнатам, стараясь обдумать и возможно яснее определить себе свое положение; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумав ничего, я отправился вниз к жене. Она стояла у себя в комнате всё в том же розовом капоте и в той же позе, как бы загораживая от меня свои бумаги. Лицо ее выражало недоумение и насмешку. Видно было, что она, узнав о моем приезде, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, как вчера, а смеяться надо мною, отвечать мне презрением и поступать решительно. Лицо ее говорило: если так, то прощайте.

Natalie, я не уехал, сказал я, но это не обман. Я с ума сошел, постарел, болен, стал другим человеком как хотите думайте... От прежнего самого себя я отшатнулся с ужасом, с ужасом, презираю и стыжусь его, а тот новый человек, который во мне со вчерашнего дня, не пускает меня уехать. Не гоните меня, Natalie!

Она пристально посмотрела мне в лицо, поверила, и в ее глазах блеснуло беспокойство. Очарованный ее присутствием, согретый теплом ее комнаты, я бормотал как в бреду, протягивая к ней руки:

Я говорю вам: кроме вас, у меня никого нет близких. Я ни на одну минуту не переставал скучать по вас, и только упрямое самолюбие мешало мне сознаваться в этом. Того прошлого, когда мы жили как муж и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сделайте меня вашим слугой, возьмите всё мое состояние и раздайте его, кому хотите. Я покоен, Natalie, я доволен... Я покоен.

Жена, пристально и с любопытством смотревшая мне в лицо, вдруг тихо вскрикнула, заплакала и выбежала в соседнюю комнату. Я пошел к себе наверх.

Через час я уже сидел за столом и писал Историю железных дорог, и голодающие не мешали мне делать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства. Ни те беспорядки, которые я видел, когда на днях с женою и с Соболевым обходил избы в Пестрове, ни зловещие слухи, ни ошибки окружающих людей, ни моя близкая старость ничто не беспокоит меня. Как летающие ядра и пули на войне не мешают солдатам говорить о своих делах,

есть и починять обувь, так и голодающие не мешают мне покойно спать и заниматься своими личными делами. У меня в доме, во дворе и далеко кругом кипит работа, которую доктор Соболев называет благотворительной оргией; жена часто входит ко мне и беспокойно обводит глазами мои комнаты, как бы ища, что еще можно отдать голодающим, чтобы найти оправдание своей жизни, и я вижу, что, благодаря ей, скоро от нашего состояния не останется ничего, и мы будем бедны, но это не волнует меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будет дальше, не знаю.